Небольшой рассказ о войне

***Евгений Рыбаков***

Я в Бога поверил на войне, - рассказывал мне дед, - и из-за одного человека. Звали Анатолий. Он служил в нашем танковом расчете с декабря 1941-го. Механиком. Парень был с Псковщины из городка Порхова. Он был весь спокойный, с виду неторопливый. И всегда крест на шее. Перед всяким боем он обязательно осенял себя крестным знамением.  
  
Наш командир – Юра, яростный комсомолец, прямо видеть не мог ни крестика этого медного, ни крестного знамения.  
  
; Ты что, из попов?! – так и налетал он на Анатолия. – И откуда вы, такие, беретесь? И как тебя только на фронт позвали? Ты же не наш человек!  
  
Толя с обычным своим достоинством отвечал, не спеша с расстановкой: «Я наш, пскопской, русской, стало быть. И не из попов, а из крестьян. Верующая у меня бабушка, дай ей Бог здравия, она и воспитала в вере. А на фронте я – доброволец, ты же знаешь. Православные всегда за Отечество воевали».  
  
Юрка кипел от злости, но придраться к Толе, кроме креста, было не за что - танкист был как полагается. Когда в 42-м мы однажды едва не попали в окружение, помню, как Юрий нам всем сказал:  
  
; Значит, если у немцев окажемся, всем приказ – застрелиться. Нельзя сдаваться!  
  
Мы молчали, подавлено и напряженно, один Толя ответил, как всегда не торопясь: «Я стреляться не могу, этого греха Господь не прощает, самоубийства, стало быть».  
  
;А если к немцем попадешь и предателем заделаешься? – зло бросил Юрий.  
  
Не заделаюсь, - ответил Толя. Слава Богу, мы тогда избежали окружения и плена…  
  
В начале 1944-го, в Белоруссии, несколько экипажей получили приказ идти к узловой станции, где наша пехота уже несколько часов вела бой. Там застрял немецкий состав с боеприпасами – он тянулся на подмогу крупному соединению, что пыталось отбить у нас ключевую позицию... Бой был короткий. Две наши машины сразу запылали. Наш танк обогнул их и, на полном ходу, шел к уже видневшейся за деревьями станции, когда что-то шарахнуло по броне, и вдруг вспыхнул огонь внутри в кабине. …Танк встал. Мы с Толей выволокли самого молодого из нас, Володю, из люка, на землю опустили и отбежали с ним метров на сорок. Смотрим – мертвый. Бывает, что сразу видно… И тут Толя кричит: «А где командир?»  
  
  
И верно, нету Юрия… А танк уже горит весь, полыхает. Толя перекрестился, бросил мне: «Прикрой!» - и назад. …Когда я подбежал к танку, он уже тащил Юрку вниз. Командир был жив, его просто сильно контузило и обожгло. Он почти ничего не видел. Но именно он, услыхав вдруг скрежет, … закричал: «Братцы, поезд! Прорывается!» … И вдруг мы услышали, как взревел и зарокотал наш танк… Танк горел весь, горел, как огромный факел. … Немцы, увидев несущийся на них огненный смерч, подняли беспорядочную стрельбу, но остановить Т-34 уже не смогли. Полыхая пламенем, танк на полном ходу врезался в передние вагоны немецкого состава. Помню, как лопнул воздух от адского грохота: это стали один за другим взрываться ящики со снарядами. … В медсанбате Юрка плакал, как мальчишка, и повторял хрипло кашляя: «Миша, слушай, а как-же Бог-то? Ему же Тольке-то нельзя было себя убивать. Раз он верующий! Что же теперь будет-то!»  
  
  
Спустя два года я приехал на Псковщину, в маленький Порхов. … Я нашел небольшую церковь. Там бабушку Толи и самого Толю помнили. Тамошний старенький батюшка благословлял его перед уходом на фронт. Этому батюшке я честно, как на духу рассказал всю Толину историю и как он погиб. Батюшка задумался, перекрестился, покачал головой. И по полному чину отпел раба Божия Анатолия, за Отечество и веру православную убиенного. Душу свою положившего за Отечество.»

**Марина Дружинина**

**Мой приятель - супермен**

**Н**а уроке русского языка нас ожидал сюрприз.  
      - Диктанта сегодня не будет! - объявила Татьяна Евгеньевна. - Зато сейчас вы будете писать сочинение под условным названием "Мой друг". Надеюсь, вы отнесётесь к этому заданию ответственно и творчески. Итак, жду от вас кратких и ярких портретов друзей, одноклассников или просто знакомых!  
      "Напишу-ка про Петьку! - решил я. - Может, он не очень-то мне и друг, но что знакомый - это факт. Да и сидит прямо передо мной - очень уж удобно его описывать!"  
      В этот момент Петька как будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, и пошевелил ушами. Поэтому сочинение я начал так: "Мой друг здорово шевелит ушами..."  
      Описывать Петьку оказалось очень интересно. Я даже не заметил, как подошла Татьяна Евгеньевна.  
      - Вова, очнись! Все уже закончили работу!  
      - Я тоже закончил!  
      - А про кого это ты с таким упоением писал?  
      - Так, про одного человека из нашего класса, - загадочно ответил я.  
      - Прекрасно! - воскликнула учительница. - Читай вслух, а мы будем угадывать, кто этот человек.  
      - "Мой друг здорово шевелит ушами, - начал я. - Хотя они у него огромные, как лопухи, и с первого взгляда очень неповоротливые…"  
      - Да это же Пашка Ромашкин! - выкрикнула Людка Пустякова. - У него как раз такие уши!  
      - Вот и неправильно! - отрезал я и продолжал: - "Мой друг не любит учиться. Зато он очень любит поесть. В общем, прожорливый такой друг. Несмотря на это, он тощий и бледный. Плечики у друга узенькие, глазки маленькие и хитрые. Он очень невзрачный с виду - так, сутулая спичка в школьной форме. Или бледная поганка…"  
      - Тогда это Владик Гусев! Вон он какой тощий! - снова закричала Пустякова.  
      - А уши-то не сходятся! - закричали другие.  
      - Перестаньте шуметь! - вмешалась учительница. - Вова закончит, тогда и разберёмся.  
      - "Иногда мой друг бывает ужасно вредный, - прочитал я дальше. - А иногда не ужасно. Он обожает смеяться над другими. И зубы у него торчат в разные стороны. Как у вампира…"  
      - Ребята! Да это же сам Вовка! - вдруг завопил Петька. - Всё совпадает! И плечи! И вредный! И зубы торчат!  
      - Правильно! - подхватили другие ребята. - Вот так Вовка! Здорово сам себя описал!  
      Некоторые девчонки даже захлопали в ладоши.  
      - Раз все хором угадали, значит, действительно похож, - сказала учительница. - Но очень уж ты к себе критически относишься. Карикатуру какую-то изобразил!  
      - Да не я это! Ничего вы не понимаете! - Я прямо-таки взмок от возмущения. - Это Петька! Разве не ясно?!  
      Все захохотали, а Петька показал мне язык и запрыгал на стуле.  
      - Петя, уймись. Сейчас мы послушаем, что ты написал, - сказала Татьяна Евгеньевна. - А тебе, Вова, есть над чем подумать.  
      Я сел, а Петька встал. И провозгласил:  
      - "У моего друга безумно красивое лицо! Он потрясающе сложён, умён и силён. И это сразу заметно. У него длинные крепкие пальцы, стальные мускулы, толстая шея и широченные плечи. О голову моего друга можно запросто разбить кирпич. А друг и глазом не моргнёт. Только засмеётся. Мой друг знает всё на свете. Я люблю с ним поговорить о том о сём. То и дело мой друг приходит мне на помощь. И днём, и ночью!.."  
      - Вот это друг! - восхитилась Татьяна Евгеньевна. - Позавидуешь! Я бы сама не отказалась от такого супердруга! Ну-ка, ребята, быстренько: кто это?  
      Но мы ничего не понимали и недоумевающе переглядывались.  
      - А я знаю! Это Сильвестр Сталлоне! - неожиданно выпалила Пустякова.  
      Но никто не отреагировал на такую глупость: будет ещё Сталлоне с Петькой болтать о том о сём!  
      А Татьяна Евгеньевна всё же уточнила:  
      - А друг-то из этого класса?  
      - Из этого! - подтвердил Петька. И мы опять стали вытаращивать глаза и вертеться во все стороны.  
      - Ладно, Петя, сдаёмся! - наконец сказала учительница. - Кто же герой твоего рассказа?  
      Петька потупил глаза и застенчиво произнёс:  
      - Это я.

Ирина Пивоварова. О чём думает моя голова

Если вы думаете, что я учусь хорошо, то вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная. Но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. А она не решается. Я говорю маме:

— Мам, а у меня задачка не получается.

— Не ленись, — говорит мама. — Подумай хорошенько, и всё получится. Только хорошенько подумай!

Она уходит по делам. А я беру голову обеими руками и говорю ей:

— Думай, голова. Думай хорошенько... «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода...» Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну, думай, пожалуйста! Ну что тебе стоит!

За окном плывёт облачко. Оно лёгонькое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывёт дальше.

«Голова, о чём ты думаешь?! Как тебе не стыдно!!! Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода...» Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы её, конечно, простила. Но разве она подойдёт, такая вредина?!

«...Из пункта А в пункт Б...» Нет, она не подойдёт. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмёт под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки.

«...Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода...» А я что сделаю?.. А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает?.. Ага, она поставит пластинку «Три толстяка». Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить её, чтобы она дала им послушать. Сто раз слушали, всё им мало! И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку.

«...Из пункта А в пункт... в пункт...» А я тогда возьму и запульну чем-нибудь прямо в её окно. Стекло — дзинь! — и разлетится. Пусть знает!

Так. Я уже устала думать. Думай не думай — задача не получается. Просто ужас какая задачка трудная! Вот погуляю немножко и снова стану думать.

Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классики. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська на меня даже не посмотрела.

— Серёжка! Витька! — закричала сразу Люська.— Идёмте в лапту играть!

Братья Кармановы выглянули в окно.

— У нас горло, — хрипло сказали оба брата. — Нас не пустят.

— Лена! — закричала Люська. — Лен! Выходи!

Вместо Лены выглянула её бабушка и погрозила

Люське пальцем.

— Павлик! — закричала Люська.

В окне никто не появился.

— Пе-еть-ка-а! — надсаживалась Люська.

— Девочка, ну что ты орёшь?! — высунулась из форточки чья-то голова. — Больному человеку отдохнуть не дают! Покоя от вас нет! — И голова всунулась обратно в форточку.

Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела как рак. Она подёргала себя за косичку. Потом сняла с рукава нитку. Потом посмотрела на дерево и сказала:

— Люсь, давай в классики.

— Давай,— сказала я.

Мы попрыгали в классики, и я пошла домой решать свою задачу. Только я села за стол, пришла мама.

— Ну, как задачка?

— Не получается.

— Но ведь ты уже два часа над ней сидишь! Это просто ужас что такое! Задают детям какие-то головоломки!.. Ну, давай показывай свою задачу! Может, у меня получится? Я всё-таки институт кончала... Так... «Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода...» Постой, постой, что-то эта задача мне знакома!.. Послушай, да ведь вы её в прошлый раз вместе с папой решили! Я прекрасно помню!

— Как? — удивилась я. — Неужели?.. Ой, правда, ведь это сорок пятая задача, а нам сорок шестую задали.

Тут мама страшно рассердилась.

— Это возмутительно! — сказала мама.— Это неслыханно! Это безобразие! Где твоя голова?! О чём она только думает?!

**Монопьеса Монолог слепой девушки**

***Танечка Седых***

На сцене стоит два стула. Играет медленная классическая музыка. В зал входит девушка, в плащике, на шее повязан платок, в легких туфлях. Взгляд ее обращен в никуда, видно, что она слепа. Она стоит, переминается с ноги на ногу, садится на один из стульев, потом опять встает, смотрит на часы. Садится опять, наслаждается музыкой. Чувствует, что кто-то к ней подходит. Встает.   
  
"Это ты? Здравствуй! Я узнала тебя. Ты всегда так мягко и тяжело дышишь и походка у тебя такая плавная, летящая. Сколько жду? Нет, совсем недолго, я пришла минут 15 назад. Ты же знаешь, как я люблю шум фонтана и смех играющих детей на детской площадке. А шелест листвы напоминает мне о чудесных, летних и беззаботных днях моего детства. Наивная? Нет, просто я люблю мечтать и умею радоваться мелочам! Таким как аромат травы и прохлада тумана, прикосновение теплой ладони и мелодия раннего утра, музыка пробуждения. А все остальное для меня не имеет значения. Я научилась чувствовать те вещи, которые нельзя увидеть, которые можно только понять сердцем. Как бы я хотела, чтобы ты ими проникся как и я…Господи, что же я говорю! Мое желание эгоистично! Ты владеешь божественным даром…Что в нем божественного??? Вопрос зрячего человека! Всем людям свойственно не ценить то, что они имеют, и лишь потеряв, страдать. Но только слепые могут сказать тебе, что реальность есть и за рамками видимого. В том самом запахе, мелодии и объятии.  Прости меня… Ты прощаешь меня?..."   
  
Девушка садится на один из стульев, смотрит мечтательно в пустоту.   
  
"Пройдемся? Или сядем и послушаем, как играет на флейте уличный музыкант? Расскажи мне, как он выглядит! Как я думаю? Я думаю, он похож на Джона Леннона, он одет в поношенный коричневый пиджак с кожаными заплатками на локтях, клетчатую рубашку и брюки с подтяжками… Да, ты прав, так должен был бы быть одет саксофонист.  А рядом с ним лежит черный футляр от его флейты, в который дети насыпали пшена и голуби клюют его прямо из футляра.  Фантазия разыгралась… Зато я могу описать на что похожа мелодия музыканта. Звуки флейты подобны пению птиц весенним утром, они подобны каплям дождя и переливам радуги. Они заставляют мою душу рваться высоко-высоко к небесам! Я просто чувствую, как во мне растет непреодолимое желание подняться на мысочки, вскинуть руки к верху и запеть, запеть, конечно, запеть, только у этой мелодии нет слов, как у меня нет света в глазах… Я не плачу. Просто иногда я чувствую недостаток чего-то. Сама не пойму чего. Да, я научилась воспринимать и чувствовать людей по голосу, по их дыханию, походке. Я легко могу определить цвет кожи, длину волос, рост и цвет глаз говорящего или поющего. Но я трогаю свое лицо, и я не знаю, какое оно. Я как будто потеряна для самой себя…Как закрытая книга. Я могу понюхать, потрогать и услышать все на этом свете. Но я для самой себя останусь загадкой навсегда".   
  
  
  
Девушка хватается за руку, как будто кто-то потрогал ее там. Она опускает вторую руку на первую и гладит воображаемую руку собеседника.   
  
"Ты взял меня за руку. Твое прикосновение я узнаю из тысячи других. Твоя рука – как путеводная нить, ведущая меня по лабиринту темноты, которая лишь изредка приобретает серый оттенок. Когда? В минуты, когда я плачу. Веришь, слезы как будто смывают эту завесу с моих глаз. Я слушаю музыку…И когда ритм, тональность и слова звучат и сочетаются, когда они находятся на пике взаимной гармонии, это как кульминация, оргазм и у меня из глаз льются слезы. Но это не горькие слезы, не слезы страдания или горечи. Это благодарные слезы, лечащие и успокаивающие. Но что это я все про слёзы….Ты улыбаешься! Я чувствую это, я слышу, как шевелятся твои волосы, как сужаются в улыбке глаза".  
  
Девушка встает, обходит стул, опирается на его спинку, как будто кладет руки на плечи собеседника.  
  
"Мы с тобой сидим так, очень дружно и уютно, держимся за руки, улыбаемся. Это незабываемое ощущение. И искренность и доброту твоей ладони не заменят никакие красочные картинки и разноцветные фломастеры!!!"  
  
Девушка садится на стул опять, и больше уже не встает. Она уже не смотрит на собеседника, она смотрит в зал, как бы пытаясь рассмотреть каждого в зале, но у нее не получается. Музыка играет чуть громче.  
  
"Мимо проходят люди, они улыбаются, потому что ярко светит солнце. Я ощущаю его на лице и теле. Его тепло окутывает все тело, словно пуховое одеяло. Люди радуются голубому небо, солнцу и теплу! Дети бегают босиком по теплому асфальту. А взрослые надевают легкие мокасины и ситцевые платки, развивающиеся на ветерке. А ты знаешь, я очень люблю, когда зимой с неба сыпятся большие хлопья снега. Я чувствую, как они тают у меня на веках и губах, и тогда я верю, что я принадлежу этому миру. Наравне с солнцем, небом, птицами и песнями. Каждый человек, каждая фенечка и грушенька по-своему приспосабливается к огромному миру вокруг нас. Я – его частичка, незрячая, но верящая, что благодаря силе любви ко всему живому, ко всему, что поет, пахнет и греет, я тонко чувствую все палитру и радугу его переплетений…Ты меня понимаешь? Нет, ты же зрячий. Ты меня любишь? Я тоже тебя люблю. И этого для нас достаточно".   
  
~ 2009

Марина Дружинина. Звоните, вам споют!

В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда в это время, радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с днём рождения, днём свадьбы или ещё с чем-нибудь знаменательным; рассказывали, какие они расчудесные, и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни.

— Ещё один звонок! — в очередной раз ликующе провозгласил диктор. — Алло! Мы слушаем вас! Кого будем поздравлять?

И тут... Я ушам своим не поверил! Раздался голос моего одноклассника Владьки:

— Это говорит Владислав Николаевич Гусев! Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика четвёртого класса «Б»! Он получил пятёрку по математике! Первую в этой четверти! И вообще первую! Передайте для него лучшую песню!

— Замечательное поздравление! — восхитился диктор. — Мы присоединяемся к этим тёплым словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая пятёрка была не последней в его жизни! А сейчас — «Дважды два — четыре»!

Заиграла музыка, а я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли — в честь меня песню поют! Ведь Ручкин — это я! Да ещё и Владимир! Да ещё и Петрович! И вообще, в четвёртом «Б» учусь! Всё совпадает! Всё, кроме пятёрки. Никаких пятёрок я не получал. Никогда. А в дневнике у меня красовалось нечто прямо противоположное.

— Вовка! Неужели ты пятёрку получил?! — Мама выскочила из-за стола и бросилась меня обнимать-целовать. — Наконец-то! Я так мечтала об этом! Что же ты молчал? Скромный какой! А Владик-то — настоящий друг! Как за тебя радуется! Даже по радио поздравил! Пятёрочку надо отпраздновать! Я испеку что-нибудь вкусное! — Мама тут же замесила тесто и начала лепить пирожки, весело напевая: «Дважды два — четыре, дважды два — четыре».

Я хотел крикнуть, что Владик — не друг, а гад! Всё врёт! Никакой пятёрки не было! Но язык совершенно не поворачивался. Как я ни старался. Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так действует на мой язык!

— Молодец, сынок! — замахал газетой папа. — Покажи пятёрочку!

— У нас дневники собрали, — соврал я. — Может, завтра раздадут, или послезавтра...

— Ну ладно! Когда раздадут, тогда и полюбуемся! И пойдём в цирк! А сейчас я сбегаю за мороженым для всех нас! — Папа умчался как вихрь, а я кинулся в комнату, к телефону.

Трубку снял Владик.

— Привет! — хихикает. — Радио слушал?

— Ты что, совсем очумел? — зашипел я. — Родители тут голову потеряли из-за твоих дурацких шуток! А мне расхлёбывать! Где я им пятёрку возьму?

— Как это где? — серьёзно ответил Владик. — Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать.

Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне ещё оставалось?..

В общем, целых два часа мы решали примеры, задачи... И всё это вместо моего любимого триллера «Арбузы-людоеды»! Кошмар! Ну, Владька, погоди!

На следующий день на уроке математики Алевтина Васильевна спросила:

— Кто хочет разобрать домашнее задание у доски?

Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку.

Первый раз в жизни.

— Ручкин? — удивилась Алевтина Васильевна. — Что ж, милости просим!

А потом... Потом случилось чудо. Я всё решил и объяснил правильно. И в моём дневнике заалела гордая пятёрка! Честное слово, я даже не представлял, что получать пятёрки так приятно! Кто не верит, пусть попробует...

В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали

передачу «Звоните, вам споют». Вдруг радиоприёмник опять затараторил Владькиным голосом:

— Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из четвёртого «Б» с пятёркой по русскому языку! Прошу передать для него лучшую песню!

Чего-о-о-о?! Только русского языка мне ещё не хватало! Я вздрогнул и с отчаянной надеждой посмотрел на маму — может, не расслышала. Но её глаза сияли.

— Какой же ты у меня умница! — счастливо улыбаясь, воскликнула мама.

**Надежда Тэффи**

**Счастливая**

Да, один раз я была счастлива.  
Я давно определила, что такое счастье, очень давно - в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива.  
\* \* \*  
Я помню: мне шесть лет, моей сестре - четыре.  
Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли.  
Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу.  
Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.  
И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег.  
Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет.  
Но мы - дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?  
Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня - заплакать ей или нет?  
И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.  
- Лена! - говорю я громко и весело.- Лена! Я сегодня видела конку!  
Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка.  
Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте,- а может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах,- и трубил в золотую трубу:  
- Ррам-рра-ра!  
Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами.  
Как расскажешь это все! Можно сказать только:  
- Лена! Я видела конку!  
Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.  
И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы?  
- Ррам-рра-ра!  
Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу.  
Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!

**Сергей Куцко**

**ВОЛКИ**

Так уж устроена деревенская жизнь, что если и до полудня не выйдешь в лес, не прогуляться по знакомым грибным да ягодным местам, то к вечеру и бежать нечего, всё попрячется.

Так рассудила и одна девушка. Солнце только поднялось до верхушек елей, а в руках уже полное лукошко, далеко забрела, но зато грибы какие! С благодарностью она посмотрела вокруг и только собралась было уходить, как дальние кусты неожиданно вздрогнули и на поляну вышел зверь, глаза его цепко следили за фигурой девушки.

— Ой, собака! — сказала она.

Где-то недалеко паслись коровы, и знакомство в лесу с пастушьей собакой не было им большой неожиданностью. Но встреча с ещё несколькими парами звериных глаз ввела в оцепенение…

“Волки, — мелькнула мысль, — недалеко дорога, бежать…” Да силы исчезли, корзинка невольно выпала из рук, ноги стали ватными и непослушными.

— Мама! — этот внезапный крик приостановил стаю, которая дошла уже до середины поляны. — Люди, помогите! — троекратно пронеслось над лесом.

Как потом рассказывали пастухи: “Мы слышали крики, думали, дети балуются…” Это в пяти километрах от деревни, в лесу!

Волки медленно подступали, впереди шла волчица. Бывает так у этих зверей — волчица становится во главе стаи. Только у неё глаза были не столь свирепы, сколь изучающи. Они словно вопрошали: “Ну что, человек? Что ты сделаешь сейчас, когда нет в твоих руках оружия, а рядом нет твоих сородичей?”

Девушка упала на колени, закрыла глаза руками и заплакала. Внезапно к ней пришла мысль о молитве, словно что-то встрепенулось в душе, словно воскресли слова бабушки, памятные с детства: “Богородицу проси! ”

Девушка не помнила слов молитвы. Осеняя себя крёстным знамением, она просила Матерь Божию, словно свою маму, в последней надежде на заступничество и спасение.

...Когда она открыла глаза, волки, минуя кусты, уходили в лес. Впереди не спеша, опустив голову, шла волчица.

**Владимир Железняков «Чучело»**

Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе.

Мне бы надо остановиться и уйти.

Мальчишки набросились на меня.

«За ноги ее! — орал Валька. — За ноги!..»

Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я лягалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад.

Железная Кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой, вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами: «ЧУЧЕЛО — ПРЕДАТЕЛЬ».

Ленка замолчала и как-то вся угасла.

Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее сил.

— А они веселились вокруг чучела, — сказала Ленка. — Прыгали и хохотали:

«Ух, наша красавица-а-а!»

«Дождалась!»

«Я придумала! Я придумала! — Шмакова от радости запрыгала. — Пусть Димка подожжет костер!..»

После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала: если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру.

А Валька в это время — он повсюду успевал первым — воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост.

«У меня спичек нет», — тихо сказал Димка.

«Зато у меня есть!» — Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу.

Димка стоял около чучела, низко опустив голову.

Я замерла — ждала в последний раз! Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не виновата… Все я!»

«Поджигай!» — приказала Железная Кнопка.

Я не выдержала и закричала:

«Димка! Не надо, Димка-а-а-а!..»

А он по-прежнему стоял около чучела — мне была видна его спина, он ссутулился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому, что чучело было на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий.

«Ну, Сомов! — сказала Железная Кнопка. — Иди же, наконец, до конца!»

Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону.

Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. Дедушка! Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла.

Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня.

Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами, хватала горящие сучья руками — мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось!

Первым опомнился Димка.

«Ты что, очумела? — Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. — Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?»

Я сильная стала, легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками — только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем, от него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр.

Они разбежались.

А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое.

Сначала я лежала с закрытыми глазами. Потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза — у чучела дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву.

Потом до меня долетел голос Железной Кнопки.

Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина.

**Лев Толстой Лебеди**

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они летели через море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они, не отдыхая, летели над водою. На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой видели синеющую воду. Все лебеди уморились, махая крыльями; но они не останавливались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее. Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл книзу. Он ближе и ближе спускался к воде; а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете. Лебедь спустился на воду и сложил крылья. Море всколыхнулось под ним и покачало его. Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на светлом небе. И чуть слышно было в тишине, как звенели их крылья. Когда они совсем скрылись из вида, лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. Он не шевелился, и только море, поднимаясь и опускаясь широкой полосой, поднимало и опускало его. Перед зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц и звёзды стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул крыльями, приподнялся и полетел, цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше и выше и полетел один над тёмными всколыхавшимися волнами.

**Б.Васильев**

**«А зори здесь тихие…»**

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не признавалась – может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее поцеловала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.  
  
– Иди спать, – сказал он. – Я устал, мне рано ехать.  
  
И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.  
  
Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.  
  
В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:  
  
– А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то совсем уж год не видали. Целых три кило сахару!..  
  
Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги:  
  
– Держи.  
  
"Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием".  
  
Подпись и адрес. И больше ничего – даже привета.  
  
Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.  
  
Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд…  
  
Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравились его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:  
  
– Неправда это!..  
  
– Влюбилась! – торжествующе ахнула Кирьянова. – Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!  
  
– Бедная Лиза! – громко вздохнула Гурвич. Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.  
  
Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.  
  
– Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?  
  
Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина – от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.  
  
"После споем с тобой, Лизавета, – сказал старшина. – Вот выполним боевой приказ и споем…"  
  
Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего незнакомого чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила    помнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.  
  
Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.  
  
Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.  
  
На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.  
  
Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.  
  
Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.  
  
Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.  
  
Вскочила – слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.  
  
Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.  
  
Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.  
  
И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там… Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной…  
  
Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.  
  
Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.  
  
– Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..  
  
Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.  
  
Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.  
  
Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет – теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее…

**Константин Паустовский**

**Барсучий нос**

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, - они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, - кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал - барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах - мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

***Борис ГАНАГО*** **«Письмо Богу»**

**Э**то произошло в конце XIX столетия. Петербург. Канун Рождества. С залива дует холодный пронизывающий ветер. Сыплет мелкий колючий снег. Цокают копыта лошадей по булыжной мостовой, хлопают двери магазинов - делаются последние покупки перед праздником. Все торопятся побыстрее добраться до дома.  
**Т**олько маленький мальчик медленно бредет по заснеженной улице.

**О**н то и дело достает из карманов ветхого пальто озябшие покрасневшиеруки и пытается согреть их своим дыханием. Затем снова засовывает их поглубже в карманы и идет дальше. Вот останавливается у витрины булочной и разглядывает выставленные за стеклом крендели и баранки.  
**Д**верь магазина распахнулась, выпуская очередного покупателя, и из нее потянуло ароматом свежеиспеченного хлеба. Мальчик судорожно сглотнул слюну, потоптался на месте и побрел дальше.  
**Н**езаметно опускаются сумерки. Прохожих становится все меньше и меньше. Мальчик приостанавливается у здания, в окнах которого горит свет, и, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Немного помедлив, он открывает дверь.  
**С**тарый писарь сегодня задержался на службе. Ему некуда торопиться. Уже давно он живет один и в праздники особенно остро чувствует свое одиночество. Писарь сидел и с горечью думал о том, что ему не с кем встречать Рождество, некому делать подарки. В это время дверь отворилась. Старик поднял глаза и увидел мальчика.  
*- Дяденька, дяденька, мне надо написать письмо!* - быстро проговорил мальчик.  
*- А деньги у тебя есть?* - строго спросил писарь.  
**М**альчик, теребя в руках шапку, сделал шаг назад. И тут одинокий писарь вспомнил, что сегодня канун Рождества и что ему так хотелось сделать кому-нибудь подарок. Он достал чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернила и вывел: «Петербург. 6 января. Господину...»  
-*Как фамилия господина?  
- Это не господин,*- пробормотал мальчик, еще не до конца веря своей удаче.  
*- Ах, это дама?*- улыбнувшись, спросил писарь.  
*- Нет-нет!* - быстро проговорил мальчик.  
-*Так кому же ты хочешь написать письмо?* - удивился старик.  
*- Иисусу.*  
-*Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком?* - возмутился писарь и хотел указать мальчику на дверь. Но тут увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня канун Рождества. Ему стало стыдно за свой гнев, и уже потеплевшим голосом он спросил:  
*- А что ты хочешь написать Иисусу?*  
- *Моя мама всегда учила меня просить помощи у Бога, когда трудно. Она сказала, что Бога зовут Иисус Христос,*- мальчик подошел ближе к писарю и продолжал. -*А вчера она уснула, и я никак  не могу ее разбудить. Дома нет даже хлеба, мне так хочется есть,* - он ладонью вытер набежавшие на глаза слезы.  
*- А как ты ее будил?* - спросил старик, поднявшись из-за своего стола.  
*- Я ее целовал.  
- А она дышит?  
- Что ты, дяденька, разве во сне дышат?  
- Иисус Христос уже получил твое письмо,*- сказал старик, обнимая мальчика за плечи. -*Он велел мне заботиться о тебе, а твою маму забрал к себе.*  
**С**тарый писарь подумал: «*Мать моя, уходя в мир иной, ты велела мне быть добрым человеком и благочестивым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет стыдно за меня*».

**Б. Екимов. “Говори, мама, говори…”**

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала:  
загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:  
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!  
Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:  
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!  
А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.  
Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.  
Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…  
Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.  
— Кидаю умом, не накину… — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.  
Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.  
Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.  
— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…  
Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.  
Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?  
Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.  
Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.  
Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.  
Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — “мобилу”. Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.  
Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:  
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.  
Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.  
В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился “мобильный”. И то слава богу.  
— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.  
Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.  
— Это что за страсть такая… — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…  
А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.  
— Мама, слышишь меня?  
— Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?  
— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.  
— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.  
Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.  
Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.  
Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.  
Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.  
Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг… — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.  
Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.  
Неловко начался день, да так и пошел не в лад.  
Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.  
— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…  
— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.  
— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…  
— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?  
— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист.  
На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: “Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…”  
И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.  
В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:  
— Болят ваши косточки?..  
Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:  
— Болят, моя доча…  
— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.  
— Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…  
— Болит ваша спина… — мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.  
— Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…  
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.  
Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.  
Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: “Овечка глупая… Чего ревешь?..” Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.  
И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:  
— Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…  
Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:  
— Говори, мама, говори…  
— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..  
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.  
— Говори, мама… — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори…

**Владимир Тендряков.**

**Хлеб для собаки**

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у неё шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает… От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака… Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая…

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась… Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди… Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и… ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое… Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен… даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

**Виталий Закруткин. Матерь человеческая**

В эту сентябрьскую ночь небо вздрагивало, билось в частой дрожи, багряно светилось, отражая полыхавшие внизу пожары, и не было на нем видно ни луны, ни звезд. Над глухо гудящей землей громыхали ближние и дальние пушечные залпы. Все вокруг было залито неверным, тусклым медно-красным светом, отовсюду слышалось зловещее урчание, и со всех сторон наползали невнятные, пугающие шумы...

Прижавшись к земле, Мария лежала в глубокой борозде. Над ней, едва различимая в смутном полумраке, шуршала, покачивала высохшими метелками густая чаща кукурузы. Кусая от страха губы, закрыв уши руками, Мария вытянулась в ложбине борозды. Ей хотелось втиснуться в затвердевшую, поросшую травой пахоту, укрыться землей, чтоб не видеть и не слышать того, что творилось сейчас на хуторе.

Она легла на живот, уткнулась лицом в сухую траву. Но долго лежать так ей было больно и неудобно - беременность давала о себе знать. Вдыхая горьковатый запах травы, она повернулась на бок, полежала немного, потом легла на спину. Вверху, оставляя огненный след, гудя и высвистывая, проносились реактивные снаряды, зелеными и красными стрелами пронзали небо трассирующие пули. Снизу, от хутора, тянулся тошнотворный, удушливый запах дыма и гари.

- Господи, - всхлипывая, шептала Мария, - пошли мне смерть, господи... Нет у меня больше сил... не могу я... пошли мне смерть, прошу тебя, боже...

Она поднялась, стала на колени, прислушалась. "Будь что будет, подумала она в отчаянии, - лучше помереть там, со всеми". Подождав немного, оглядываясь по сторонам, как затравленная волчица, и ничего не видя в алом, шевелящемся мраке, Мария поползла на край кукурузного поля. Отсюда, с вершины покатого, почти неприметного холма, хутор был хорошо виден. До него было километра полтора, не больше, и то, что увидела Мария, пронизало ее смертным холодом.

Все тридцать домов хутора горели. Колеблемые ветром косые языки пламени прорывались сквозь черные клубы дыма, вздымали к потревоженному небу густые россыпи огненных искр. По освещенной заревом пожара единственной хуторской улице неторопливо ходили немецкие солдаты с длинными пылающими факелами в руках. Они протягивали факелы к соломенным и камышовым крышам домов, сараев, курятников, не пропуская на своем пути ничего, даже самого завалящего катушка или собачьей конуры, и следом за ними вспыхивали новые космы огня, и к небу летели и летели красноватые искры.

Два сильных взрыва потрясли воздух. Они следовали один за другим на западной стороне хутора, и Мария поняла, что немцы взорвали новый кирпичный коровник, построенный колхозом перед самой войной.

Всех оставшихся в живых хуторян - их вместе с женщинами и детьми было человек сто - немцы выгнали из домов и собрали на открытом месте, за хутором, там, где летом был колхозный ток. На току, подвешенный на высоком столбе, раскачивался керосиновый фонарь. Его слабый, мигающий свет казался едва заметной точкой. Мария хорошо знала это место. Год тому назад, вскоре после начала войны, она вместе с женщинами из своей бригады ворошила на току зерно. Многие плакали, вспоминая ушедших на фронт мужей, братьев, детей. Но война им казалась далекой, и не знали они тогда, что ее кровавый вал докатится до их неприметного, малого, затерянного в холмистой степи хутора. И вот в эту страшную сентябрьскую ночь на их глазах догорал родной хутор, а сами они, окруженные автоматчиками, стояли на току, словно отара бессловесных овец на тырле, и не знали, что их ждет...

Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она вскочила, хотела кинуться туда, на ток, но страх остановил ее. Попятившись, она снова приникла к земле, впилась зубами в руки, чтобы заглушить рвущийся из груди истошный крик. Так Мария лежала долго, по-детски всхлипывая, задыхаясь от едкого, ползущего на холм дыма.

Хутор догорал. Стали стихать орудийные залпы. В потемневшем небе послышался ровный гул летящих куда-то тяжелых бомбардировщиков. Со стороны тока Мария услышала надрывный женский плач и короткие, злые выкрики немцев. Сопровождаемая солдатами-автоматчиками нестройная толпа хуторян медленно двинулась по проселочной дороге. Дорога пролегала вдоль кукурузного поля совсем близко, метрах в сорока.

Мария затаила дыхание, приникла грудью к земле. "Куда ж они их гонят? - билась в ее воспаленном мозгу лихорадочная мысль. - Неужто расстреливать будут? Там же малые дети, ни в чем не повинные женщины..." Широко открыв глаза, она смотрела на дорогу. Толпа хуторян брела мимо нее. Три женщины несли на руках грудных детей. Мария узнала их. Это были две ее соседки, молодые солдатки, мужья которых ушли на фронт перед самым приходом немцев, а третья - эвакуированная учительница, она родила дочку уже здесь, на хуторе. Дети повзрослее ковыляли по дороге, держась за подолы материнских юбок, и Мария узнала и матерей и детей... Неуклюже прошагал на своих самодельных костылях дядя Корней, ногу ему отняли еще в ту германскую войну. Поддерживая друг друга, шли двое ветхих стариков-вдовцов, дед Кузьма и дед Никита. Они каждое лето сторожили колхозную бахчу и не раз угощали Марию сочными, прохладными арбузами. Хуторяне шли тихо, и лишь только кто-нибудь из женщин начинал громко, навзрыд плакать, к ней тотчас же подходил немец в каске, ударами автомата сбивал ее с ног. Толпа останавливалась. Ухватив упавшую женщину за ворот, немец поднимал ее, быстро и сердито лопотал что-то, указывая рукой вперед...

Всматриваясь в странный светящийся полумрак, Мария узнавала почти всех хуторян. Они шли с корзинками, с ведрами, с мешками за плечами, шли, повинуясь коротким окрикам автоматчиков. Никто из них не говорил ни слова, в толпе слышался только плач детей. И лишь на вершине холма, когда колонна почему-то задержалась, раздался душераздирающий вопль:

- Сволочи! Пала-а-чи! Фашистские выродки! Не хочу я вашей Германии! Не буду вашей батрачкой, гады!

Мария узнала голос. Кричала пятнадцатилетняя Саня Зименкова, комсомолка, дочка ушедшего на фронт хуторского тракториста. До войны Саня училась в седьмом классе, проживала в школьном интернате в далеком районном центре, но школа уже год не работала, Саня приехала к матери и осталась на хуторе.

- Санечка, чего это ты? Замолчи, доченька! - запричитала мать. Прошу тебя, замолчи! Убьют они тебя, деточка моя!

- Не буду молчать! - еще громче крикнула Саня. - Пускай убивают, бандиты проклятые!

Мария услышала короткую автоматную очередь. Хрипло заголосили женщины. Лающими голосами закаркали немцы. Толпа хуторян стала удаляться и скрылась за вершиной холма.

На Марию навалился липкий, холодный страх. "Это Саню убили", молнией обожгла ее страшная догадка. Она подождала немного, прислушалась. Человеческих голосов нигде не было слышно, только где-то в отдалении глуховато постукивали пулеметы. За перелеском, восточное хутора, то здесь, то там вспыхивали осветительные ракеты. Они повисали в воздухе, освещая мертвым желтоватым светом изуродованную землю, а через две-три минуты, истекая огненными каплями, гасли. На востоке, в трех километрах от хутора, проходил передний край немецкой обороны. Вместе с другими хуторянами Мария была там: немцы гоняли жителей рыть окопы и ходы сообщения. Извилистой линией они вились по восточному склону холма. Уже много месяцев, страшась темноты, немцы по ночам освещали линию своей обороны ракетами, чтобы вовремя заметить цепи атакующих советских солдат. А советские пулеметчики - Мария не раз видела это трассирующими пулями расстреливали вражеские ракеты, рассекали их, и они, угасая, падали на землю. Так было и сейчас: со стороны советских окопов затрещали пулеметы, и зеленые черточки пуль устремились к одной ракете, ко второй, к третьей и погасили их...

"Может, Саня живая? - подумала Мария. Может, ее только ранили и она, бедненькая, лежит на дороге, истекает кровью?" Выйдя из гущины кукурузы, Мария осмотрелась. Вокруг - никого. По холму тянулся пустой затравевший проселок. Хутор почти догорел, лишь кое-где еще вспыхивало пламя, да над пепелищем мельтешили искры. Прижимаясь к меже на краю кукурузного поля, Мария поползла к тому месту, откуда, как ей казалось, она слышала крик Сани и выстрелы. Ползти было больно и трудно. На меже сбились согнанные ветрами жесткие кусты перекати-поля, они кололи коленки и локти, а Мария была босиком, в одном старом ситцевом платье. Так, раздетой, она минувшим утром, на рассвете, убежала с хутора и теперь проклинала себя за то, что не взяла пальто, платок и не надела чулки и туфли.

Ползла она медленно, полуживая от страха. Часто останавливалась, вслушивалась в глухие, утробные звуки дальней стрельбы и снова ползла. Ей казалось, что все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где-то в самых недоступных глубинах земли тоже не прекращается это тяжкое, смертное гудение.

Саню она нашла там, где и думала. Девочка лежала, распростертая, в кювете, раскинув худые руки и неудобно подогнув под себя босую левую ногу. Еле различая в зыбком мраке ее тело, Мария прижалась к ней, щекой ощутила липкую влажность на теплом плече, приложила ухо к маленькой, острой груди. Сердце девочки билось неровно: то замирало, то колотилось в порывистых толчках. "Живая!" - подумала Мария.

Оглядевшись, она поднялась, взяла Саню на руки и побежала к спасительной кукурузе. Короткий путь показался ей бесконечным. Она спотыкалась, дышала хрипло, боясь, что вот сейчас уронит Саню, упадет и больше не поднимется. Уже ничего не видя, не понимая, что вокруг нее жестяным шелестом шумят сухие стебли кукурузы, Мария опустилась на колени и потеряла сознание...

Очнулась она от надрывного стона Сани. Девочка лежала под ней, захлебываясь от заполнившей рот крови. Кровь залила лицо Марии. Она вскочила, подолом платья протерла глаза, прилегла рядом с Саней, приникла к ней всем телом.

- Саня, деточка моя, - шептала Мария, давясь слезами, - открой глазки, дите мое бедное, сиротиночка моя... Открой свои глазоньки, промолви хоть одно словечко...

Дрожащими руками Мария оторвала кусок своего платья, приподняла Санину голову, стала вытирать клочком застиранного ситца рот и лицо девочки. Прикасалась к ней бережно, целовала солоноватый от крови лоб, теплые щеки, тонкие пальцы покорных, безжизненных рук.

В груди у Сани хрипело, хлюпало, клокотало. Поглаживая ладонью детские, с угловатыми колонками ноги девочки, Мария с ужасом почувствовала, как холодеют под ее рукой узкие ступни Сани.

- Прокинься, деточка, - стала молить она Саню. - Прокинься, голубочка... Не умирай, Санечка... Не оставляй меня одну... Это я с тобой, тетя Мария. Слышишь, деточка? Мы же с тобой только двое остались, только двое...

Над ними однообразно шелестела кукуруза. Утихли пушечные залпы. Потемнело небо, лишь где-то далеко, за лесом, еще содрогались красноватые отсветы пламени. Наступил тот предутренний час, когда убивающие друг друга тысячи людей - и те, кто, подобно серому смерчу, несся на восток, и те, кто грудью своей сдерживал движение смерча, уморились, устали корежить землю минами и снарядами и, одуревшие от грохота, дыма и копоти, прекратили страшную свою работу, чтобы отдышаться в окопах, отдохнуть немного и вновь начать трудную, кровавую жатву...

Саня умерла на рассвете. Как ни старалась Мария согреть смертельно раненную девочку своим телом, как ни прижималась к ней горячей своей грудью, как ни обнимала ее - ничего не помогло. Похолодели Санины руки и ноги, замолкло хриплое клокотание в горле, и вся она стала застывать.

Мария закрыла Сане чуть приоткрытые веки, сложила на груди исцарапанные, со следами крови и лиловых чернил на пальцах, одеревеневшие руки и молча села рядом с мертвой девочкой. Сейчас, в эти минуты, тяжкое, неутешное горе Марии - смерть мужа и малого сына, два дня назад повешенных немцами на старой хуторской яблоне, - как бы уплыло, заволоклось туманом, сникло перед лицом этой новой смерти, и Мария, пронзенная острой внезапной мыслью, поняла, что ее горе только невидимая миру капля в той страшной, широкой реке горя людского, черной, озаренной пожарами реке, которая, затапливая, руша берега, разливалась все шире и шире и все быстрее стремилась туда, на восток, отдаляя от Марии то, чем она жила на этом свете все свои недолгие двадцать девять лет...

**Борис Ганаго**

***ЗЕРКАЛО***

Точка, точка, запятая,

Минус, рожица кривая.

Палка, палка, огуречик -

Вот и вышел человечек.

С этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, что её не поймут, подписала под ним: “Это я”. Она внимательно осмотрела своё творение и решила, что ему чего-то не хватает.

Юная художница подошла к зеркалу и стала разглядывать себя: что ещё нужно дорисовать, чтобы любой мог понять, кто изображён на портрете?

Надя очень любила наряжаться и вертеться перед большим зеркалом, пробовала разные причёски. На этот раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью.

Ей захотелось выглядеть загадочной и романтичной, как длинноногие девушки, показывающие моды по телевизору. Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный взгляд и попробовала пройтись походкой манекенщицы. Получилось не очень красиво, а когда она резко остановилась, шляпа съехала ей на нос.

Хорошо, что никто не видел её в этот момент. Вот бы посмеялись! В общем, быть манекенщицей ей совсем не понравилось.

Девочка сняла шляпу, и тут её взгляд упал на бабушкину шапочку. Не удержавшись, она примерила её. И замерла, сделав удивительное открытие: как две капли воды она была похожа на свою бабулю. Только морщин у неё пока не было. Пока.

Теперь Надя знала, какой она станет через много лет. Правда, это будущее казалось ей очень далёким…

Наде стало понятно, почему бабушка так любит её, почему с нежной грустью наблюдает за её шалостями и украдкой вздыхает.

Раздались шаги. Надя торопливо положила шапку на место и побежала к дверям. На пороге она встретила… саму себя, только не такую резвую. А вот глаза были совсем такие же: по-детски удивленные и радостные.

Наденька обняла себя будущую и тихо спросила:

- Бабушка, а правда, что в детстве ты была мной?

Бабушка помолчала, потом загадочно улыбнулась и достала с полки старинный альбом. Перелистав несколько страниц, она показала фотографию маленькой девочки, очень похожей на Надю.

- Вот какой я была.

- Ой, и правда, ты похожа на меня! – в восторге воскликнула внучка.

- А может, это ты похожа на меня? – лукаво прищурившись, спросила бабушка.

- Это не важно, кто на кого похож. Главное – похожи, – не уступала малышка.

- Разве не важно? А ты посмотри, на кого была похожа я…

И бабушка стала листать альбом. Каких там только не было лиц. И каких лиц! И каждое было по-своему красиво. Покой, достоинство и тепло, излучаемые ими, притягивали взгляд. Надя заметила, что все они – маленькие дети и седые старики, юные дамы и подтянутые военные – были чем-то похожи друг на друга… И на неё.

- Расскажи мне о них, – попросила девочка.

Бабушка прижала к себе свою кровинку, и заструился рассказ об их роде, идущем из давних веков.

Уже подошло время мультиков, но девочке не захотелось их смотреть. Она открывала что-то удивительное, бывшее давно, но живущее в ней.

А ты знаешь историю своих дедов, прадедов, историю своего рода? Может быть, эта история и есть твоё зеркало?

Драгунский «Тайное становится явным

Я услышал, как мама в коридоре сказала кому-то:

- Тайное всегда становится явным.

И когда она вошла в комнату, я спросил:

- Что это значит, мама: «Тайное становится явным»?

- А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему очень стыдно, и он понесет наказание, - сказала мама. - Понял?.. Ложись-ка спать!

Я вычистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать.

Сначала я съел яйцо. Это было еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши.

- Ешь! - сказала мама. - Безо всяких разговоров!

Я сказал:

- Видеть не могу манную кашу!

Но мама закричала:

- Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен поправиться.

Я сказал:

- Я ею давлюсь!

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила:

- Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?

Ну еще бы... Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме:

- Конечно, хочу в Кремль! Даже очень!

Тогда мама улыбнулась:

- Ну вот, съешь всю кашу, и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни - ты должен съесть все до дна!

И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал - ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, попробовал... Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю.

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно.

Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь в Кремль-то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол.

В это время вошла мама. Она сразу посмотрела на тарелку и обрадовалась:

- Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль! - И она меня поцеловала.

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал:

- Здравствуйте! - и подбежал к окну, и поглядел вниз. - А еще интеллигентный человек.

- Что вам нужно? - строго спросила мама.

- Как не стыдно! - Милиционер даже стал по стойке «смирно». - Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!

- Не клевещите. Ничего я не выливаю!

- Ах не выливаете?! - язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв дверь в коридор, крикнул: - Пострадавший!

И вот к нам вошел какой-то дяденька.

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.

На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал мекать:

- Главное, я иду фотографироваться... И вдруг такая история... Каша... мм... манная... Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то... жжет... Как же я пошлю свое... мм... фото, когда я весь в каше?!

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник, а уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась.

- Извините, пожалуйста, - сказала она тихо, - разрешите, я вас почищу, пройдите сюда!

И они все трое вышли в коридор.

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал:

- Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным!

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила:

- Ты это запомнил на всю жизнь? И я ответил:

- Да.